

Роберт Льюис СТИВЕНСОН

13 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона. Дата не круглая, как говорится, она не отмечается. Но разве для новой — какой уже по счету! — встречи с автором «Острова сокровищ» и «Черной стрелы» нужен какой-то особый повод?

Р. Л. Стивенсона мы знаем как рассказчика, автора приключенческих и исторических романов, очерков, статей, как поэта, наконец, а вот Стивенсон-эссеист нам почти незнаком. Одно из его эссе — с небольшими сокращениями — сегодня «Литературная Россия» предлагает вниманию читателей. Полностью оно войдет в книгу «Писатели Англии о литературе», готовящуюся к печати в издательстве «Прогресс».

ВПЕРВЫЕ
НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

ДОСУЖИЙ РАЗГОВОР О РОМАНЕ ДЮМА



Роберт Льюис СТИВЕНСОН.

КНИГАМ, которые мы чаще всего перечитываем, не обязательно отдали наши самые светлые восторги; мы предпочитаем их другим и возвращаемся к ним в силу самых разных причин, как в жизни почему-либо отдаем предпочтение одним друзьям перед другими. Один-два романа Скотта, Шекспир, Монтень, «Эгоист»¹ и «Виконт де Бражелон» составляют кружок моих задушевных друзей. За ними выступает изрядная компания добрых приятелей, во главе ее «Путь паломника»²... Есть на моих полках порядочное число таких книг, что смотрят на меня с укором — в свое время они побывали у меня в руках, но я редко заглядываю в них, как редко захожу в дома, что не стали родным домом. Я не наладил добрых отношений — и стыжусь в этом признаться — с Вордсвортом, Горацем, Бернсом и Хэзлиттом³. И, наконец, есть ряд книг, которым дано торжествовать лишь минуту — они сверкают, поют, пленяют, а затем возвращаются во мрак забвения, ожидая, когда вновь пробьют их час...

Своей шестерке, сколь ни разнородна она по составу, я верен всю жизнь и рассчитываю сохранить верность до гроба. Я не читал Монтеня от корки до корки, но мне не по себе, если я долго не заглядываю в него, и восхищение от прочитанного всегда, как впервые. У Шекспира я не читал «Ричарда III», «Генриха VI», «Тита Андроника» и «Все хорошо, что хорошо кончается»; насильно не полюбишь, и я уже никогда их не прочту, зато в расплату за свою бесчувственность я готов вечно читать остального Шекспира. Приблизительно такая же история и с Мольером, другим славным именем в христианском календаре. Но не пристало этим царственным фигурам занимать уголок в маленьком эссе, и я смиренно кланяюсь их тени и следую дальше. Мне трудно сказать, сколько раз я перечитывал «Гая Мэннеринга», «Роб Роя» или «Редгонтлета», поскольку читать их я начал очень рано. «Эгоиста» же я читал четыре или пять раз, а «Виконта де Бражелона» — пять, если не все шесть.

Люди с другими привязанностями, возможно, будут озадачены, что в нашей скоротечной жизни я уделил столь много времени произведению столь малоизвестному, как названное последним. Я тоже поражаюсь, но не выбору своего сердца, а людскому безразличию. Заочно я познакомился с «Виконтом» в лето господне 1863, когда имел счастливый случай взглянуть на расписные десертные тарелки в одном отеле в Ницце. В подписях встречались имя д'Артаньяна, которого я приветствовал как старого друга, ибо годом раньше читал о нем. А прочел я роман впервые в одном из тех пиратских изданий, которыми в ту пору изводил книжный рынок Брюссель, так что набрала целая библиотечка аккуратных пухлых томов. Тогда я мало постиг достоинства книги — в моей памяти замечательно сохранилась сцена казни д'Эмери и Лиюдо, что по-своему свидетельствует о глупости тогдашнего мальчишки, который способен увлечься свалкой на Гревской площади и напрочь забыть о посещении д'Артаньяном небезвестных финансистов⁴. Следующий раз я читал роман в своем пенландском затворничестве, зимой.

Проведя обычно день в обществе пастуха, я возвращался засветло; меня дружески встре-

чали у порога, приветливая собака сломая голову уносила по лестнице за моими домашними туфлями; подсев к очагу, я зажигал лампу и проводил в одиночестве долгий тихий вечер. Впрочем, отчего же я называю его тихим, когда в его течение врывались стук копыт, ружейный треск и словесная перепалка? И пребывал я не в одиночестве, обзаведясь столькими друзьями. Я вставал от книги, отбрасывал шторы, смотрел в шотландский сад, расчерченный квадратами снега и сверкающего остролиста, на белые холмы, посеребренные зимней луной. А потом снова вводил глаза к той многолюдной и солнечной панораме жизни, где так легко забыться, забыть тревоги и окружение: здесь совсем городская суэта, свет рампы выхватывает достопамятные лица, слух улавливает восхитительную речь. Нити этой эпопеи я тянул за собою в постель, просыпаясь, держа их в руках, с восторгом погружался в книгу за завтраком и с болью откладывал потом ради собственных дел; ибо никакая часть света не может так прельстить меня, как эти страницы, и даже мои собственные друзья для меня менее осязаемы и, боюсь, менее любимы, чем д'Артаньян.

С тех пор я то и дело брал любимую книгу и читал с любого места, а сейчас я опять кончил читать ее с начала до конца — в пятый раз, с вашего позволения, — испытав еще большую радость, чем прежде, и более осмысленный восторг. Возможно, я проникся к ней неким чувством собственности — ведь я совершенно свой человек во всех шести томах. Возможно, думаю, д'Артаньян доставляет радость, что я читаю о нем, и Людовику Четырнадцатому это приятно, и Фуке бросает на меня взгляд, и Арамис, хотя он знает, что я его недолюбиваю, тоже играет ради меня — и он не скрывает на обольщение, словно я и есть заправка всего балагана... Я испытываю одновременно боль и недоумение, видя, что в известности «Виконт де Бражелон» уступает «Графу Монте-Кристо» или старшему моему собрату — «Трем мушкетерам».

Если читатель уже познакомился с главным героем на страницах книги «Двадцать лет спустя», то название нашего романа может отпугнуть его. Читатель, чего доброго, сочтет за благо устраниваться, воображая, что все шесть томов подряд он обречен неотступно следовать за Бражелоном, кавалером с отменными манерами и превосходной речью — и при этом нависающим смертельную скуку. Напрасные страхи! Я, например, провел свои лучшие годы с этими шестью томами под рукой, а знакомство мое с Раулем не пошло дальше вежливого поклонения и когда, устав притворяться живым, он удостоивается страдания, и, видимо, вот-вот умрет, мне невольно вспоминается фраза из предыдущего тома: «Наконец-то он сделал хоть что-нибудь!» — вздохнула мисс Стюарт (а говорила она как раз о Бражелоне). — И то хорошо. Повторяю: я вспоминаю это не-

вольно; уже в ту минуту, когда умирает Атос и мой любимый д'Артаньян разражается безудержными рыданиями, — тогда я сожалею о своем легкомыслии.

Может случиться и так, что читатель книги «Двадцать лет спустя» убоится новой встречи с Лавальером. Что же, и здесь он прав, хотя и не в такой степени. Луиза просто не получилась. Ее творец старался на совесть; она полна благих намерений, ничего худого не таит за душой, иногда сболтнет истину, иногда даже завоеует на миг наше расположение. Но я никогда не завидовал победе короля. Мало сказать, что я не сочувствовал Бражелону в его поражении: я не придумал бы ему горшего наказания — не за то, что он размазня, но за то, что лишен воображения, — как пожелать ему жениться на этой даме. Королева-мать меня очаровывает, от этой царственной кокетки я снесу даже нестерпимые обиды; вместе с королем я навожу трепет и смягчаюсь в том памятном эпизоде, когда король является сделать принцессе выговор — и остается флиртовать (!); и мое сердце обмирает в груди де Гиша, когда наконец звучат слова: «Так любите меня!». Но никаких чувств не пробуждает во мне Луиза.

Читатели не преминут отметить, что все сказанное писателем о красоте и прелести своих созданий ничему не служит; что мы сразу во всем разбираемся; что стоит героине открыть рот, как в один миг, словно шелуха, словно Золушки ряд, спадают превосходные замечательные рекомендации и сама себя разоблачившая героиня предстает либо немощной и хворой девицей, либо дюжей базарной торговкой. Это хорошо известно писателям: очень часто героиня начинает превращаться в «дурнушку», и против этой напасти почти немисливо найти средство. Я сказал: писатели, но имею-то я в виду одного конкретного писателя, чьи произведения я хорошо знаю, хотя не могу их читать; этот писатель провел не одну бессонную ночь у одра своих чалых маркизеток, словно колдун истощая свое искусство в попытках вернуть им молодость и красоту. Есть другие, они высоко парят, не ведая таких тревог...

Но что это, некоторые еще мнутась на пороге романа, не решаясь войти? Да, в столь обширном здании есть множество задних лестниц и всяких служебных помещений, до которых далеко не каждый охотник, и уж во всяком случае следовало дать побольше свету в прихожей; и точно, книга движется враскачку вплоть до семнадцатой главы, где д'Артаньян отправляется на поиски своих друзей. Зато какая сразу развивается феерия! Похищение Монка; обогащение д'Артаньяна; смерть Мазарини; восхитительная авантюра с Бель-Илем, где Арамис обводит д'Артаньяна вокруг пальца, и ее развязка, оставляющая моральное превосходство за д'Артаньяном; амурные приключения в Фонтенбло, рассказ Сент-Энъяна о том, что

поведала ему дриада, и события, связавшие де Гиша, де Варда и Маникана; Арамис делается генералом ордена иезуитов; Арамис в Бастилии; ночной разговор в Сенарском лесу; снова Бель-Иль, смерть Портоса; и последнее, но едва ли не главное — укрощение молодого ковром неукротимого д'Артаньяна.

Где еще найдете вы такое эпическое разнообразие и благородство действия, зачастую, согласен, несбыточного, зачастую отдающего арабскими сказками, но всегда по силам человеческим? И если на то пошло, в каком другом романе больше присутствует человек целиком и при ясном свете дня, радуя глаз, не вооруженный микроскопом? Где еще обнаружите вы столько здравого смысла, веселого задора и столь безупречное и восхитительное литературное мастерство? Простые души, я знаю, порою вынуждены довольствоваться чтением развязных переводов. Однако этот стиль невозможно сохранить в переводе: он воздушен, как бисвит, и прочен, как шелк; многословен, как деревенская сплетня; точен, как военное донесение; с множеством погрешностей, но никогда не скучный; ничем не замечательный и, однако, единственно верный. И наконец — ибо должен быть конец и у похвального списка, — какой другой роман одушевлен столь покладистой и благотворной моралью?

Да, прибавлю я, — и моралью... Все сколько-нибудь хорошие книги проповедуют мораль; но мир велик, и моральные ценности не однозначны. Из двух людей, погрузившихся в «Тысячу и одну ночь» Ричарда Бертон⁵, одного покоробят низменные подробности, другой останется к ним равнодушен, возможно, они даже придутся ему по вкусу, зато его, в свою очередь, возмутят мошенническая складка и жестокость персонажей. Точно так же одного читателя огорчат моральные выводы каких-нибудь богобоязненных мемуаров, другого смутит мораль «Виконта де Бражелона». Важно заметить, что оба по-своему правы. И в жизни, и в искусстве мы всегда досаждаем друг другу; невозможно загнать в картину настоящее солнце, невозможно выставить в книге абстрактную истину (если таковая вообще существует); достаточно, если в картине будет отблеск того слепящего света, что не дает нам прямо взглянуть на небо, и достаточно, если в книге даже на скверну упадет отражение великой благодати.

Я не стану рекомендовать «Виконта» человеку, помогающему пуританской, как мы ее называем, морали. Пузатый мулат⁶, великий обжора и труженик, скипидом и транжир, ост-

рослов и хохотун, человек добрейшей души и — увиль — сомнительной честности, — этот характер еще не предстал миру в полный рост; он еще ждет своего мастера с твердой и любящей рукой; но сколько ни выкажи художник искусства и терпимости, это не будет портрет пуританина. Дюма, конечно, думал не о себе, а о Планше, заставив старого слугу д'Артаньяна сделать замечательное признание: «Сударь, я из тех людей, которые созданы, чтобы радоваться всему, что они встречают на своем пути». Он думал, повторю, о Планше, в отношении которого лучше и не скажешь; но эти слова можно отнести и к создателю Планше; возможно, ему самому приходила в голову такая мысль, ибо послушайте, что следует за этими словами: «д'Артаньян уселся на подоконник и стал размышлять по поводу философии Планше».

Если человеку все в жизни по душе, то вряд ли стоит ожидать от него рвения к пассивным добродетелям — его привлекают лишь активные качества; воздержанность — пусть самая мудрая, пусть самая благая — в глазах такого судьи только скверность и отдает богохульством. Таким человеком был Дюма. Сдержанность не была близка его сердцу, как не была близка и добродетельная бережливость (за что ему приходилось больно распливаться), а ведь в ней — безопасность художника.

В «Виконте» Дюма пришлось уделить много места соперничеству между Фуке и Кольбером. Историческая справедливость целиком на стороне Кольбера, который олицетворяет честность по долгу службы и финансовую грамотность. И Дюма отлично сознавал это, в чем проговорился, по крайней мере, трижды: впервые истина мелькнула в шутиловом диспуте в садах Сент-Манде и была высмеяна самим Фуке; потом ее мимоходом коснулся Арамис в Сенарском лесу; и, наконец, в речи, исполненной достоинства, ее определенно высказал Кольбер-победитель. Однако сам Дюма видел свою близость к Фуке, любившему пожить шумно и на широкую ногу, ценившему острое слово, покровителю искусства и неутомимому труженику, — и с тем большей симпатией создавал он его портрет. Меня почти удивляет, с какой настойчивостью защищает Дюма честь Фуке. Может, он не ведал, что незапятнанная честь и расточительство не дружат между собой? Вряд ли: на примере собственной жизни он знает это слишком хорошо — и тем упорнее защищает остатки чести. Честь переживает рану; честь торжествует и на пустом месте. Человек воскресает после бесчестия; среди руин он забывает новые свая; когда переламывается шпага, он хватается за кинжал. Таков в книге Фуке; таким был в жизненных схватках Дюма.

Цепляться за обломки загубленной натуры достойно человека, но чтобы апология подобного качества обозначала нравственную позицию автора — это сомнительно. Она проявляется не здесь — она в характере д'Артаньяна, заключающемся тот урок нравственности, что составляет одно из главнейших достоинств книги, делает радостным ее чтение и возвышает ее над более удачливыми соперниками. Атос с годами все больше склоняется к проповедничеству, и проповедует он вялые истины; зато из д'Артаньяна выходит человек такого острого ума, такой негибкости, доброты и справедливости, что ему покоряется без рассуждений. Он не щеголяет прописными добродетелями, его природная любезность не в духе салонных предписаний — он может повесть себя весьма рискованно; показная сердобольность не в его

складе; ни в добре, ни в зле его сердце не знает крайностей; но в целом это человек без фальши, словно полновесный золотой.

Если читатель не случайно набрел на «Виконта», а честно одолел все пять томов «Трех мушкетеров» и «Двадцать лет спустя», то он, конечно, не забыл, какую злую шутку, недостойную джентльмена, сыграл однажды д'Артаньян с миледи. И поэтому умиляет нестрогий расплатой эпизод, где старый капитан унижается перед сыном человека, которого он подменил в любовной сцене.

Если бы мне предстояло подобрать себе или моим друзьям добродетели, я бы отправился за ними к д'Артаньяну. Этим я не хочу сказать, что столь же безупречного характера нет, по-ложим, у Шекспира, — просто я никого так не люблю у Шекспира. Незримые очи стерегут каждый наш шаг, очи, закрывшиеся навеки, и очи, еще не нашедшие нас, и их обладатели видят нас в сокровеннейшие минуты, мы трепещем их — это наши свидетели и судьи. Можете смеяться, но в моей жизни пара таких очей принадлежит д'Артаньяну, только не тому, которого мы знаем по мемуарам и кому отдавал свое предпочтение Теккерей, в чем, смею думать, оставался одинок, не д'Артаньяну во плоти, а д'Артаньяну на бумаге, исписанной чернилами, — творению Дюма, а не природы. Вот особое отличие и победа художника: быть не просто правдивым — быть любимым, не просто убеждать, но — очаровывать.

«Виконт» замечателен еще в одном отношении: я не припомню другого художественного творения, где с таким удивительным тактом было бы показано окончание жизненного пути. Недавно меня спросили, исторгал ли у меня Дюма смех либо слезы. Признаться, в пятый раз читая «Виконта», я не ожидало рассмеялся над портовским методом Коклена де Вольера и, вероятно, это меня чуточку обескуражило, так что в оправдание себе я потом не сгонял улыбку с лица. Слезы? — не знаю. Если вы приставите пистолет к моему лбу, я вынужден буду согласиться, что у рассказа чрезвычайно легкая поступь: еще толчок — и он оторвется от земли; любителям пушечного грома и опалюющих страстей он может показаться несообразным с начала до конца. Я полагаю иначе: ни обед, ни книга не будут для меня плохи, если я сажусь за них с теми, кого люблю, а главное, со страниц последнего тома исходит какое-то особенное очарование. На вас веет приятной и бодрящей грустью, за которой кроется мужество, а не истерика. Многолюдный и шумный день этой длинной истории постепенно окутывают сумерки; гаснут огни, и один за другим уходят герои. Они уходят по одному, но их уход не оставляет горького осадка — молодость занимает их место. Все вырастает, все ослепительнее сверкает Людовик Четырнадцатый — вместе с Солнцем занимает зоря новой Франции, а нам и любившимся ветеранам близок и желанен конец. И читать об этом — значит самим готовиться к нему. Когда грянет и наш сумрачный час, как хотелось бы встретить его с таким же душевным спокойствием!

Моя бумага кончается; на границе с Голландией бухают осадные пушки, и я в пятый раз прощаюсь со старым другом, принявшим славную смерть на поле боя. Прощай! Нет — до свиданья! Мы и в шестой раз, дорогой д'Артаньян, похитим Монка и поскачем в Бель-Иль.

С английского.
Перевод
Владимира ХАРИТОНОВА

¹ Роман английского писателя Джорджа Мерседта (1828—1909).

² Аллегорический роман английского писателя Джона Веньяна (1828—1888).

³ Уильям Хэзлитт (1778—1830) — английский литературный критик, эссеист.

⁴ Кольбер и Фуке.

⁵ Ричард Фрэнсис Бертон (1821—1890) — английский путешественник и дипломат; автор первого полного перевода арабских сказок на английский язык.

⁶ Отец писателя был сыном негритянки с Гаити и французского маркиза.